

ЖИВОЕ СЛОВО

За массивным дубовым столом, слегка согнувшись над чистым листом, сидит Писатель. В старинной перьевой ручке, как кровь, пульсируют чернила. Сейчас он до тронется самым кончиком ее до бумаги, и на ней образуются причудливые узоры письма, которые будут иметь способность приобрести любую форму. Капля чернил породит сотни ответвлений: подобно виноградной лозе они расползутся по белой поверхности, переплетаясь друг с другом. Мысли начнут произрастать от самых корней, постепенно приобретая законченность. А потом Ему надо будет взять садовые ножницы и точными аккуратными взмахами убрать всё лишнее, чтобы придать этому новому, свежему растению подобающую форму.

На листе бумаги теперь уже целое дерево, в пышной кроне которого щебечут птицы, аромат его зелени разносится за многие версты, на него сбегается всякая живность, не проходят мимо и люди: каждый путник находит на нем плод, срывает его и пробует на вкус – отдельная ягода, являясь частью целого, заключает в себе одновременно всю его полноту.

Иные набирают горсть, чтобы донести ее до своих близких и разделить с ними радость от их вкушения. Писатель видит это и воспринимает как символ к посадке новых ростков. Яркие капли чернил впитываются бумагой, листы ее превращаются в белых птиц, которые разлетаются по всему свету, неся на своих крыльях ожившие слова и мысли.

Теперь есть ради чего трудиться – канули в Лету бездушные машины, печатающие и множащие копии – мертвое стало еще более мертвым, затихнув уже навсегда много лет назад. А семена, лишь терпеливо ожидавшие своего часа, пустили ростки,

оживляя своим примером доброе начало в людях.

Всё ныне живое и дышащее – даже бумага, произведенная заботливыми руками Мастера Бумажных Дел, и чернила, добытые из сока растений. От старого мира осталось только железное перо, которое Писатель окунает в чернильницу. Но скоро и перо будет живое – как только оно вырастет до подходящего размера на птице. Тогда Он очинит его и будет слушать тихое скрежетание кончика о шероховатую поверхность писчей бумаги. От этого непременно родятся новые мысли, и дерево примет изначально еще более совершенную форму.

Теперь люди снова понимают ценность книги как не печатного, а написанного от руки Слова. Роль Писаря возвысилась до такой степени, какой она была много веков назад, когда зло еще не вырвалось наружу из гиблых мест и не смешалось с Родом Человеческим, превратив его в бушующую толпу.

Эти Хранители Слова вновь кропотливо нанизывают жемчуг букв на нити строк и укладывают получившуюся красоту ровными рядами. Им некогда расточать Время – именно оттого они используют самые лучшие, отобранные заботливыми руками Писателей образцы.

Нематериальное и бесценное приобретает при этом вполне материальную форму, впитывая которую, внимательный Читатель снова превращает всё в невесомую материю мыслей и чувств, и она впитывается в его сознание посредством тонких фильтров.

Писатель, зная это, создает всё новые и новые сочетания, подобно тому, как парфюмер получает новые ароматы в своей мастерской.

И отчего же Человечество утратило это Знание на многие столетия? Как возможно было променять будоражащее, вибрирую-

щее цветом и звуком, живое многообразие ощущений на запахе тления и скрежет металла?..

Как хорошо на душе оттого, что есть еще и Художники, и Поэты, и Музыканты – они создают гармонические колебания, волны, по которым легче плыть всем вокруг – Ремесленникам, Плотникам, Кузнецам. Всем Людям.

Прежний человек стал, наконец, Человеком. Так было заведено от века и да будет во веки веков.

Быстро стаял снег в этом году. Отзвенела серебряная капля, подсохли лужи, талая вода из них впиталась в чрево земли, чтобы дать жизнь измученным жаждой весенним росткам.

По оштукатуренной стене вверх и вниз, вдоль и поперек снуют крохотные черные паучки, будто бы тоже вылезшие погреться на солнце. Движение их представляется бесцельным, хотя, наверняка, и в нем есть некая упорядоченность, недостижимая для нашего разума.

Птицы щебечут, но уже не так громко, как раньше. Краски свежи, но уже не обжигают своей новизной. Все знакомо и предопределено.

Маятник времени в природе колеблется бесконечно, а вместе с ним и все живое – то замирает, погружаясь в летаргический сон, то вспыхивает, источая разнообразные звуки и благовония. То ли дело человек – колебания его маятника стремятся затухнуть, в особенности, если их не оживлять каким-либо воздействием. Страшное дело – привычка. А коль сама жизнь становится привычкой – это совсем никуда не годится.

Баба Нюра сидит на завалинке и провожает своим прозрачным, водянистым взглядом редких прохожих. Дышится, однако же, легко. Узловатой клюкой, вырезанной сыном из орешника, она то постукивает по поверхно-

Писатель, желая снова отправить белых вестников в полет, макает перо в чернила. Согнувшись над столом, при свете свечи, отбрасывающей пляшущие блики на деревянные стены, он выводит несколько слов – квинтэссенцию мыслей, которые только что пронеслись вихрем сквозь его сознание. Хвостик последней буквы выходит необычайно изящным и красивым.

Раздается царапающий барабанный перепонки писк будильника. За окном темно и сыро.

ВЕЩА

сти вытоптанной тропки, то царапает на ней незатейливые узоры, задумываясь, вероятно, о чем-то сокровенном.

Ветра почти нет, воздух застыл плотной массой на всем дворе, как студень в предназначенной специально для него посудине. Солнце еще не в зените, однако греет уже по-летнему, так что цветы в доме дружно поворачивают к нему свои головы на тонких, бледных после долгой зимы, шеях.

Баба Нюра снимает одну варежку и прикладывает руку к дереву, словно пытаясь вобрать в себя часть этого тепла. А затем и вторую. Она сидит некоторое время с закрытыми глазами, потом открывает их, чтобы посмотреть на свои руки. Сквозь бледную, изрезанную сеткой морщин кожу проглядывают тонкие вены, по которым остывающая кровь несется обратно к сердцу. Она снова закрывает глаза, чтобы увидеть почти на этом же самом месте своего деда – Пахома, который с отцом и устроил все хозяйство здесь почти век назад.

Она, семилетняя, прыгает вокруг него то на одной, то на другой ноге. А дед, густо попыхивая самосадам, крутит ус и улыбается ей. Он сидит в овчинном полушубке, привезенном давным-давно кем-то издалека и уже порядочно изъеденном молью, и валенках с кожаными заплатами на пятках и мысках.

– Что, дедушка, скоро уж сморода да клубника поспеют?

– Куда ж еще? Рано ведь!

– Ох, хочу клубники. Картоха за зиму вот как приелась!

– Да ты что ж, не помнишь уж, как и картохи не было?

– Помню, деда, помню. А все ж ягод хочется.

– Терпи, терпи. Дождешься... – деда Пахома пробирает глубокий, грудной кашель от едкой махорки.

– А ты, деда, ягодок хочешь?

– Чего-чего? Не слышу...

Девочка вновь повторяет вопрос, уже громче.

– А-а, ягод... Я уж думал, что и в прошлом году не дожусь. А в этом...

– Дождешься, деда, дождешься... Я тебе сама соберу и принесу.

– Иди ко мне, – он сажает девочку на колени, так что ноги ее не достают теперь до земли, она весело болтает ими в воздухе. И при этом уже в который раз разглядывает грубые, мозолистые, закаленные работой руки с узловатыми пальцами и непропорционально большими суставами. Она трогает эти ладони – вроде бы теплые, а вроде бы нет, стараясь понять, отчего так происходит.

– Деда, слышь, а?

– Ну что? – он вроде бы отходит от короткой дремы от ее звонкого голоса.

– А чего так – уж конец апреля, а ты все в овчине да в валенках?

– Это мне удобно так.

– И не жарко?

– Не-е... Даже холодно бывает.

– Чудной ты, деда... – Нюрка смеется.

А дальше она, словно со стороны, видит себя собирающей смородину с огромного, старого куста, нижние ветви которого лежат на земле под тяжестью ягод. Она ест их с ладони, давясь слезами. «Пусть бы вообще они никогда не зрели больше, пусть бы время замерло, а дед так и курил бы дальше свой самосад!» И она бы все так же сидела бы у него на коленях и задавала ему свои глупые вопросы. Что теперь эти ягоды – дед их все равно не попробует. И так ей становится его жалко, что просто невыносимо.

По щеке старой женщины сползает слеза.

– Баба Нюра! – окликает ее соседский мальчонка, забежавший вернуть одолженную матью десятку.

Она открывает глаза.

– Ты что это – плачешь?

– Где?

– Да вон же – слезы у тебя.

– Солнце яркое сегодня, Ванька.

– Да, солнце жарит прямо. А чего ты в бурках?

– Много будешь знать – скоро составишься.

– Чудная ты, баба Нюра....

НАСТОЯЩЕЕ РОЖДЕСТВО

Двадцатое декабря. Редкие снежинки, лениво кружась, опускаются на едва схваченную морозом землю. Она чувствует, как одна крошечная льдинка цепляется за ее ресницы и тут же растаивает, сползая слезинкой по щеке. Какое оживление вокруг! Она идет по Курфюрстендамм*, ослепленная тысячами огней, яркими, кричащими

витринами, вслушивается в быструю речь прохожих, вылавливая из каждого разговора отдельные фразы.

«Сколько событий, проблем, новостей...»

Все кружится, словно сумасшедший вихрь в преддверии Рождества. И эти Weihnachtsmärkte**... Три года назад все было ново и необычно, хотелось прямо бро-

* Знаменитый бульвар Берлина, известное место для покупок и развлечений

** Рождественские рынки, крайне популярные в Германии

ситься туда, в самый центр водоворота, стать его мельчайшей частицей, закружиться в этом танце цивилизации. Ах, да – какая чистота, порядок... Все это весьма впечатляло ее. И не только это. Как интересно было наблюдать за людьми. Как будто бы везде все одинаково, но в то же время... Тогда она смотрела на них, жадно впитывая все эти манеры, усваивая стиль общения. И уже через полгода или около того она порхала в этом дивном мире, радуясь тому, как быстро открыл он для нее свои двери.

Еще несколько снежинок крошечными каплями осели на ее лице. Зябко.

Она опускает подбородок поглубже в ее любимый шарф, захваченный еще из дома. Снег несколько усиливается, возможно, из-за ветра. Теперь ей почему-то неуютно. Беспочуйно. А ведь вокруг – праздник... Месяц назад – повышение и прибавка к окладу, почти в полтора раза. Но нет в этом всем приятном беспокойстве чего-то родного и так нужного теперь. И дело даже не в датах, хотя и в них тоже... Нет в этом всем самого главного.

Сворачивая с Ку-дамм в один из бесчисленных крошечных переулков, которые имеют свойство совершенно запутывать своей похожестью впервые попавших в Берлин, она с радостью отмечает, что ветер теперь дует в спину. А ведь она всегда любила гулять в метель, особенно сильную, там – на родине. Верно, снег здесь другой... Да и ветер особенный.

«Надо зайти к Шремеру, раз уж я оказалась поблизости», – думает она и, ускоряя шаг, сворачивает в еще более крошечный переулок и оказывается перед небольшой уютной лавчонкой с бронзовой вывеской «Antiquitäten» [«антиквариат»]. В прошлый раз здесь удалось отыскать недурной подшивчик французской мануфактуры позапрошлого столетия.

Над дверью раздается тонкий звон колокольчика.

– Herzlich willkommen, liebes Fräulein! [Добро пожаловать, милая барышня] – улыбается знакомый ей пожилой немец с лихо закрученными усами, имеющими желтоватый

оттенок на кончиках от долгой привычки к курению.

– Guten Abend, Herr Schrömer [Добрый вечер, господин Шремер!].

– Sie möchten etwas zu Weihnachten gern haben, oder? [Вы хотите что-то к Рождеству, не так ли?]

– Na ja, vielleicht etwas Nettes als Geschenk für die Familie [Ну да, возможно, что-то для семьи, в качестве подарка]...

– Einen Moment, bitte. Mal sehen [Один момент, пожалуйста. Сейчас посмотрим]...

Он отходит куда-то вглубь, исчезая в полумраке подсобного помещения. Взгляд Анны падает на плетеную корзинку с открытками.

Через мгновение Шремер появляется за прилавком с двумя шкатулками:

– Die wären vielleicht ganz interessant [Вот эти были бы весьма интересны]... – начинает он и тут же обрывает фразу, замечая, что она держит в своих длинных, озябших пальцах открытку. – Anfang des 20. Jahrhunderts. Da steht etwas auf Russisch geschrieben, oder? [Начало 20 века. Тут что-то написано по-русски, верно?]

– Ja, das stimmt. Ich nehme die Karte gern. [Да, верно. Я беру открытку.]

Пока она достает из слегка потертого кошелька из лакированной кожи купюры, немец просит напоследок:

– Seien Sie so freundlich die Aufschrift zu übersetzen? [Не будете ли Вы любезны перевести надпись?]

– Ach, ja... 'Liebe Anja, wir hoffen darauf, dass du vor den Weihnachten zurückkommst. 20.12.1907' [Ах, да... «Дорогая Аня, надеемся, что ты вернешься до Рождества. 20.12.1907»]

– Heimweh? [Тоска по дому?] – спрашивает Шремер.

– Teilweise... Das kann man kaum ausdrücken... Auf Wiedersehen, frohe Weihnachten, Herr Schrömer! [Отчасти... Это нельзя выразить... До свидания, счастливого Рождества, господин Шремер!] – она разворачивается и закрывая за собой дверь лавки антиквара, едва слышно добавляет, – русская тоска...

Билет домой, купленный вчера и спрятанный во внутреннем кармане куртки, сейчас

будто бы начинает выделять тепло. Маленькое Рождественское чудо. Теперь она уверена, что поступила правильно.

Время возвращаться домой и отныне всегда праздновать Рождество по-настоящему. На родине.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Хрупкую морозную тишину нарушали шаги невысокого, коренастого мужчины, который то и дело оступался, проваливаясь в еще рыхлый снег, выпавший совсем недавно, прямо накануне Нового года. Человека этого звали Иваном Степановичем.

В храме в эту ночь не служили, так что он возвращался домой после Навечерия – шел медленно, словно размышляя о чем-то, так что в каждом его шаге чувствовалась особенная сосредоточенность. Было нечто особенное и в этой Рождественской ночи: цепкая ледяная хватка ее кистей будто бы сжимала Ивана Степановича все больше при каждом выдохе, как удав стискивает плотными кольцами свою жертву.

Он чувствовал этот холод, заставлявший ошетиниваться каждый волосок на теле. Это была не обычная стужа, от которой можно отогреться, присев у очага и протянув к нему ладони. Холод наполнял его сейчас изнутри, вначале заставляя биться мелкой дрожью все части тела, а потом словно лишал разум всякой воли к сопротивлению. Иван Степанович ускорил шаг настолько, что можно было подумать, будто он опасается чего-то, что наблюдает за ним из темноты. Но он боялся теперь только лишь этого ненормально-го холода...

Мысли его сейчас вновь замкнулись на небольшом пространстве больничной палаты. Он явственно слышал тиканье дешевых кварцевых часов на стене над входной дверью. Наблюдая за плавным движением секундной стрелки, он в один момент осознал, что жизнь утекает, как песок, куда-то в небытие. Сейчас он смотрел на свою жизнь как на некую субстанцию: она вдруг материализовалась, приобретя совершенно конкретную форму и утратив эфемерный образ

суммы идей и чувств. Ему захотелось взять камень, чтобы швырнуть его прямо в эти часы. Полно...

Дневной сон с полчаса назад сморил его соседа на противоположной койке. Сейчас он повернулся на бок, заставив панцирную кровать жалобно скрипнуть. Из-под покрывала показались грубые немые пятки, оттенком и свойством своим, вероятно, походившие на советский кожаный портфель. Иван Степанович остановил взгляд сначала на окне, рассматривая буйство свежих красок расцветающей природы, потом перевел глаза на потолок, заметив в плафоне люминесцентной лампы горстку скопившихся там дохлых мошек. «Символично...» – подумал он.

Далее он уже перестал вести счет времени. Здесь оно замерло, превратившись в густую, как кисель, массу. Изредка эту неприятную тишину нарушал крик медицинской сестры.

«Только первый день...» – с грустью думал Иван Степанович. Сосед справа тихо захрипел.

«Может, встать, да толкнуть легонько?» – Нет, неудобно выйдет. Храп, словно от этой мысли, сделался будто бы громче.

Несколько раз сменив положение в гамаке, сработанном из металлической сетки, Иван Степанович, не ощутив и минимального удобства, решил подняться и сесть на стул.

Сосед, почувствовав движение, проснулся и, немного помедлив, повернул голову к Ивану Степановичу:

– Ну что?.. Не спится?

– Куда там...

– Неужто волнуешься? Ты, это... брось.

«На «ты»... Ну кто он такой, чтобы на «ты» обращаться?» – Ивана Степановича слегка покорило от такой фамильярности. В его кру-

гу это было не принято. Однако он сдержал свой внутреннии порыв, не подавая вида:

– Есть немного. А вы, неужели вы спокойны?

– Мы? – как будто с усмешкой переспросил собеседник. – Мы... тоже, есть немного. У тебя на завтра назначено?

– Да, говорят – к часу. Врач с обеда вернется – и начнут.

– И мне тоже к полвторому... Да ну его... Целый день почти впереди. Кефиру хочишь? «Хочишь... Ну как же можно так сказать – «хочишь»? Хотю, не хотю. Так и отвечу».

– Спасибо, вроде не голодный еще. А откуда у вас лишний кефир?

– «Вы», да «вы»... Я вроде как один на койке сижу. Может, нечисть только какая вокруг крутится. Говори «ты», да и все. Проще так.

– Хорошо. Но непривычно как-то.

– А привыкай. Здесь, брат, все одинаковы. Делить-то нечего.

Следующие несколько часов комбайнер Саша рассказывал разные истории, стараясь хоть как-то подбодрить доцента Ивана Степановича. Последнему знакомство это хоть и не казалось сначала достаточно приятным, но уже не раздражало. Время плавно подошло к вечеру.

Палата, разделенная стеной на две равных части, вмещала в себя пять коек, крайняя у двери пустовала. Один из пациентов в том отсеке целый день лежал, не проявляя ни малейшего интереса к жизни вокруг, если ее вообще можно было так назвать.

Часов около восьми к Ивану Степановичу с соседом подошел еще один обитатель противоположного отсека, утром представившийся Алексеем.

Тогда Иван Степанович не заметил пластмассовый клапан размером с бутылочную пробку, притаившийся под гортанью.

– В карты не хотите сыграть? – просипел Алексей, придвигаясь ближе, так что доцент ощутил гнилостный запах, исходящий прямо из пластикового стента.

– Пожалуй, нет... – Иван Степанович слегка отпрянул назад, стараясь не выдать свои эмоции. – Я, вообще-то, не играю в карты.

– Давай научим! – Алексей обнажил верхние, отсутствовавшие через один, зубы.

– Леха, отстань! Дай человеку отдохнуть. Не обижайся только.

– Ну – как хотите, пойду, покурю.

Когда он вышел, Иван Степанович с удивлением переспросил:

– Пошел курить? У него же, это самое...

– Да... Я тут уже неделю торчу, все по обследованиям водят. Ходят курить, а ты что думал? Тайком, – задумчиво произнес Саша. – Я ж тоже курил. Докурился, вот... А ты?

– Да как же возможно курить? Нет, я даже не пробовал.

– Неужто не пробовал? Совсем?

– Ну, было дело. Но только один раз.

– Это правильно, знаешь... Теперь только понятно становится.

Оба замолчали.

Всю ночь Ивана Степановича мучил один вопрос: «За что?» За что он очутился здесь? Абсолютно нелогичной и противоестественной казалась ему вся ситуация и сама атмосфера. «Может, это дурной сон?» – доцент сначала слегка ушипнул себя за мочку уха, потом еще раз – уже гораздо сильнее.

Душная ночь облаком опустилась на все вокруг и расплзлась по углам больничной палаты. Иван Степанович не спал, ворочаясь с боку на бок в металлическом гамаке. Все так же тикали часы, все так же похрапывал сосед, видя, вероятно, уже десятый сон. На той половине спали ее обитатели.

Он слышал только биение своего сердца: ритм его не был спокойным – видимо, сказывалось определенное волнение. Иван Степанович тыльной стороной ладони стер несколько капель пота со лба, по которому пролегли глубокие горизонтальные морщины. Часам к четырем доцент сдался. Тревожный, поверхностный сон охватил и его...

Ровно в семь в палату заглянула медсестра. Иван Степанович уже не спал, а просто лежал с закрытыми глазами, словно желая отсрочить этот момент. Незвестность способна вызывать у человека животный, бессознательный страх.

Саша уже сидел на краю кровати и натягивал бывшие в употреблении, вероятно, несколько дней носки. Характерный их запах донесся до доцента.

– Ну что, Иван, как спалось?
– Нормально... – соврал доцент Иван Степанович.

– Почти как дома? Я же знаю... Жуткие они, эти панцирные кровати, – далее Саша ловко употребил известно нецензурное слово.

– Как ни ворочайся, никак положение не найти.

– Пойдем в столовую, завтракать. Война войной, а обед по расписанию.

– Не хочется чего-то еще...

– Ты это... слышь – не дури. Потом вообще, может, есть не сможешь, или нельзя будет. Пойдем!

В тесной столовой хирургического отделения доцент и комбайнер уселись прямо друг напротив друга. В белые неглубокие тарелки было положено по два казенных половника рисовой каши. Давали еще чай в свою кружку, кусочек сыра, ломоть белого хлеба и сливочное масло, размером с половину спичечного коробка, завернутое в золотистую фольгу.

Иван Степанович почему-то обратил внимание на срез ломтя – он был шероховатый, с задирами, происходившими по вине затупившего ножа.

– Приятного аппетита, – произнес Иван Степанович.

Сосед не ответил, а только хмыкнул в ответ да кивнул головой, ибо рот его уже был полон, а челюсти перемалывали пищу с таким усердием, что на висках вздымались и ходили бугры мышц.

Доцент неторопливо перемешал ложкой масло и осторожно попробовал больничную стряпню на вкус.

– Ешь, не бойсь, – ухмыльнулся Саша и продолжил опустошать тарелку.

Иван Степанович ел бесшумно, наблюдая за чавкающим соседом. Когда дело дошло до чая, Саша принял пить его большими глотками таким образом, который в народе иногда обозначают словом «сербать». В самом конце он задержал последний глоток, чтобы прополоскать им рот.

Доцент опустил глаза в свою чашку, ожидая раскатистой отрыжки, но ее не последовало. Вместо этого Саша сложил фольгу та-

ким образом, чтобы получилась зубочистка, и принялся ковырять ею в зубах.

В палату на подпись принесли бумаги. Саша сразу же, размашисто, не глядя, поставил свои закорючки в трех положенных местах и протянул документ врачу-анестезиологу.

Доцент принялся за тщательное изучение написанного, но строки перед глазами путались и прыгали, превращаясь в бессмысленное нагромождение букв и предложений. Такого с ним еще не случалось. В одно мгновение куда-то исчезла вся грамотность и щепетильность. Кое-как дочитав до конца пять страниц, он поставил подписи и отправился в ординаторскую, чтобы вернуть требуемый документ.

За окном палаты весело чирикали птицы. В один момент Ивану Степановичу показалось, что они нарочно дразнят его, вертя длинными хвостиками прямо на ветке в метре от стекла. Он вздохнул и погрузился в свои мысли.

Без пятнадцати час в палату вошла медсестра, окутанная облаком лекарственных запахов, и нарочито строгим голосом приказала готовиться к операции:

– Так, вы вдвоем, раздевайтесь – и на talkи!

– Раздеваться?! – в один голос удивленно ответили мужчины.

– А как же? Вы что, не знали?

Ответа не последовало.

– Живее. Через пять минут приду. Вот – накрыться, – и она швырнула каждому по невесомой синтетической пеленке светло-зеленого цвета.

– Иван... Ты, это...

– Что? – отозвался доцент.

– Ты в Бога веришь? А?..

Иван Степанович там, в обычной жизни, обязательно нашелся бы, что ответить. А сейчас он просто растерялся, и эта нехарактерная растерянность читалась не только на его лице, но и в каждом движении:

– Я... я никогда не думал, знаешь... А что?

– А ты не думай. Хоть сейчас поверь. На секунду, на час, на сутки... Держи, – Саша

протянул доценту крохотный медальон. – Это из монастыря. Только они же, это... все снимать заставляют. Даже цепочку.

– Так куда же я его возьму?

– А я уже придумал. Смотри! – он развернул левую ладонь. К безымянному пальцу скотчем был примотан крохотный крестик.

– Хитро...

– Давай, не медли. Времени совсем уж нет.

Иван Степанович, колеблясь, протянул соседу свою левую руку. Комбайнер достал моток прозрачной ленты и прикрепил медальон таким же образом.

– Ну вот.

– Спасибо – Иван Степанович и Саша обменялись крепким рукопожатием.

Скинув с себя исподнее, оба улеглись на холодные каталки.

– Удачи тебе, – шепнул Саша.

– И вам. В смысле, тебе.

Дальше Ивана Степановича долго везли по бесконечным коридорам. Он слышал, как распахнулись тяжелые металлические двери операционной. По команде он переместил свой корпус с каталки на такой же холодный металлический стол, укрытый какой-то тряпичей. Последнее, что осталось в его памяти – прозрачная маска с анестетиком и три пальца, которые последовательно загибал врач-анестезиолог. Глаза застелил густой, белый туман...

«Как же холодно... Разве такое вообще может быть? Конечности еще не ощущаются, мысли текут довольно вяло. Какой яркий свет... Будто чье-то ледяное дыхание обжигает изнутри, каждая клетка пропитана холодом...»

Иван Степанович силится повернуть голову – не получается. Ни одна часть тела не слушается команд мозга. Он пробует открыть рот. Никак.

Из тела будто бы выкачали всю энергию...

Что-то, вероятно из медицинского оборудования, издает писк через равные интервалы времени.

Холод становится еще более невыносимым. Вокруг, кажется, никого нет. «А что, если...? Нет... Не может быть – вот так – просто и бессмысленно...»

Время то ли остановилось, то ли наоборот, несется, сломя голову. Сейчас нет никаких ориентиров. Иван Степанович пробует еще раз посмотреть в сторону. Голова слегка поворачивается. Слева окно занавешено плотной шторой, через которую не проникает свет.

«Попробуем направо... А – Саша!.. Это же он – лежит с закрытыми глазами. Грудная клетка его медленно вздымается и опускается. Живой. Так... Что это тянется из-под покрывала?»

Взгляд Ивана Степановича несколько раз фокусируется и расфокусируется. Наконец он замечает две пластиковые трубки, прозрачные, с кровью внутри. Руки его пока не слушаются. А холод все усиливается. Озноб начинает бить его все яростнее, так, что невозможно подавить его никаким усилием воли. Он хочет крикнуть, но рот не раскрывается. Мысли его, однако, становятся яснее. Он снова поворачивает голову на затылок.

Через какое-то время рядом возникает медицинская сестра. Он опять хочет закричать: «Холодно!»

Вдруг она, словно догадавшись, включает тепловентилятор и ставит его в ноги, так, чтобы воздух заходил под покрывало. Медленно, капля за каплей жизнь вместе с теплом начинает возвращаться в его тело...

И вот он снова в палате. На часах – почти полночь. Металлический гамак по-прежнему безжалостно издевается над телом. Только теперь повернуться не выходит. Иван Степанович правой рукой придерживает две пластиковые трубки дренажа, примостившись на самом краю кровати, – так она меньше прогибается. Делая вдох и выдыхая, он чувствует неприятное чавканье внутри грудной клетки, будто бы кто-то отжимает тряпку над ведром с водой. Излишки крови и лимфы при этом сочатся в бутылку с мутной желтой жидкостью, стоящую на полу, под кроватью.

Сосед еще не просыпался.

«Надо бы медальон вернуть... А ведь не заметили же...»

Внезапно все вокруг здесь, в больничной палате, словно предстает в новом свете: взгляд доцента вновь перемещается на соседа, потом он сосредоточивается, будто бы погружаясь в глубины собственного сознания.

«Как же? Как же раньше было не понять?.. Вот он – напротив... И тот, за стеной... И на этажах ниже и выше, везде – все – одинаковы. Неужто всякие должности, деньги – все, для чего мы живем?..»

В этот момент вся предыдущая жизнь начала, подобно кадрам старой кинохроники, прокручиваться перед глазами Ивана Степановича. Он принялся вспоминать свои взлеты и падения. Вспомнил, как присуждались ему различные звания и награды. Вспомнил даже, какой галстук был на нем на защите диссертации. А ведь он – без пяти минут профессор.

«Да... карьерный рост. А, собственно, почему рост? В чем выражается он? В физических величинах? Ведь сосед, Саша, – он же ничем не отличается... А ростом он, вроде бы, даже выше... Нет же, он – лучше, лучше во многих отношениях. Господи...»

Иван Степанович впервые поймал себя на мысли, что обращается к Богу. От этого ему стало и страшно и необыкновенно хорошо в одно и то же время.

«Как же можно было не догадаться?.. Вот оно что... Гордость – причина всего. От нее

я здесь. Как возможно было прожить сорок пять лет на этом свете и не осознать?..»

Медальон на пальце как будто стал теплее. Ладони Ивана Степановича вспотели, так что он тут же вытер их по очереди о серый больничный пододеяльник.

«Да, да, все это гордыня. Чтоб ее...»

На второй день боль несколько утихла. Лежа на спине, сосед рассказывал о том, как в редкие выходные, в период летней страды, всегда возвращается на свою пасеку, к пчелам.

Иван Степанович слушал его, не перебивая. Его жизнь не шла ни в какое сравнение с Сашиней. Все сложности, которые обыкновенно считаются благоприятным приобретением образованного городского жителя, со всех сторон облепили его так, что он, казалось, уже никогда не сможет распрямиться под их гнетом...

«Господи, прости...», – повторял он про себя сотни раз подряд.

Наконец он подошел к дому. Прежде чем ступить на порог, он достал из внутреннего кармана куртки пластмассовую коробочку и открыл ее. В свете луны в его руках вспыхнула серебристая искра того самого медальона. Вновь стало тепло.

«А ну – этой весной и себе пасеку обустрою», – подумал Иван Степанович, открывая перед собой входную дверь.

ПОЧЕМ?

Мало ли затерялось на просторах нашей необъятной родины небольших, а то и вовсе крохотных городков да деревень? А ведь и в них живут люди, со своими радостями, чувствами, проблемами...

Случилось, что несколько лет назад заехал я к своему старому знакомому, будучи проездом в Калужской области. Дело шло к отпуску, так что торопиться было незачем и

некуда. За окном автомобиля мелькали деревушки, до боли похожие одна на другую. В иных местах стояли одиноко вдоль дорог заброшенные, покрытые мхом и растительностью до самого верха, храмы без куполов, которые, как было понятно, никто и никогда уже не восстановит. Нерентабельно. Сухое слово, все чаще звучащее уже много лет, подобно приговору. Проезжая, смотрел я

на эти церкви, сложенные большей частью из добротного красного кирпича ныне неизвестной мануфактуры, а душа от этого зрелища испытывала острую, как от резкого удара, почти физическую боль...

Было что-то неопишимо родное и в покосившихся бревенчатых домиках – коттеджи встречались мало. Редкие их обитатели, замершие на обочинах, задумчиво провожали глазами мой автомобиль, ибо ехал я не быстро, стараясь не превышать дозволенную скорость. «Все больше старики. А дети, дети где?» – задавал я себе один и тот же наивный вопрос. Сердце мое ликовало несколько раз, когда я замечал загорелых ребят на старых, отремонтированных заботливыми руками родителей велосипедах. Вспомнилось мне и собственное босоное детство...

А еще бросались в глаза белые, как поганки, грибки спутниковых антенн, приделанные почти к каждой обитаемой избе. Так вот оно – то, что объединяет наш народ...

Друг мой обитает в населенном пункте, представляющем собой нечто среднее между деревней и поселком городского типа. Был я там всего один раз, да и то уже так давно, что почти забыл дорогу. Наконец, к вечеру, преодолев последние пять километров по грунтовке, от души посыпанной крупной и мелкой щебенкой, моя окутанная облаком пыли «Газель» остановилась прямо перед свежевыкрашенной калиткой. Грозно залаяла собака, отчего врассыпную бросились отъевшиеся дворовые коты. Я повернул ключ в замке зажигания, выключил фары, прыгнул на землю и, поправив рубашку и съехавшую в сторону пряжку ремня, направился к дому.

Первой меня заметила его жена – статная женщина лет тридцати восьми, не утратившая еще своей природной красоты. Она мало изменилась с тех пор, как я видел ее в прошлый приезд.

– Здравствуй, Коля!

– Привет! А хозяин где?

– Сашка-то? Он думал, ты позже будешь.

Сказал, через полчаса вернется. В магазин поехал, да еще зачем-то.

– Ясно. Как вы?

– Да ничего, с Божьей помощью. Все по-прежнему...

– А Ваня?

– Ваня на речке, грозился окуньков принести, к ужину как раз. А мне еще корову подоить надо. Ты проходи в дом-то.

– Это вам, – я протянул ей пакет с разными сюрпризами для всех, которые по моему разумению могли сослужить хорошую службу. Обидно ведь, когда подарки просто ставятся на полку или убираются в далекий шкаф...

– Зря только деньги тратил... Ох, Николай... Неловко же как.

– Неловко знаешь что?

– Что?

– Штаны через голову надевать. А я не обедею, коль, пока есть возможность, что-то вам полезное подарю.

– Спасибо. А я все же к корове пойду.

– А где она?

– А вот – за домом прямо уже.

– Пойдем вместе. Давно я уже не видел, как молоко получается.

Сидя на массивной березовой колоде для рубки дров, я наблюдал за тем, как сщеживаемое парное молоко тонкими струйками со звоном летя в эмалированное ведро, образуя небольшой слой пены. Корова лениво дергала ушами, сгоняя досаждавших ей насекомых. Дарья справилась с работой за десяток минут. Я взял ведро и занес его в дом для процеживания.

Друг мой с сынишкой приехали через полчаса на мотоцикле. Мы, как и полагается, обменялись рукопожатиями. Сам Саша мало изменился, а четырнадцатилетний Ванька оказался крепким смышленным парнем, ростом почти с отца, так что если бы я встретил его на улице, то, конечно бы, не узнал.

Хоть Дарья и звала всех к ужину, который она давно успела приготовить, мы тремя ногами в шесть рук принялись чистить на улице рыбу, которую добыл Ванька. Впрочем, управились быстро, так что беспокойство хозяйки не успело перерасти в женский гнев.

Уже сидя за столом, я отметил про себя, насколько здоровая атмосфера царил здесь: за разговорами не возникало неловких пауз,

и я чувствовал себя почти как дома. Да и внешность этой семьи произвела благоприятное впечатление: на них не было, если так можно выразиться, печати цивилизации. Жизнь здесь текла размеренно, как это и было задумано Богом для человека...

Темы разговоров сменяли одна другую, и, когда мы уже, наконец, успели обсудить все произошедшее за несколько лет, Саша упомянул, что на следующий день они ожидают гостей. Оказалось, что его брат, живущий в столице с момента совершеннолетия, собирался приехать погостить.

– А когда? – спросил я.

– Да прямо завтра.

– А как же?... – начал я, но Саша оборвал меня на полуслове.

– Дом большой. Все поместимся. Даже не вздумай!

– Хорошо. Но все же, если бы я знал, то приехал бы через недельку.

– Ничего. Нам веселее будет, правда, Даша?

– Конечно!

Весь следующий час мой друг предавался воспоминаниям. Рассказывал эпизоды из детства: как они с братом ходили за грибами и заблудились в лесу, как строили дом на дереве из досок и накрывали его брезентом, как радовались, когда родители купили им пневматическую винтовку, и они охотились на дроздов, которые клевали клубнику... Много чего рассказывал... Помнил он при этом мельчайшие детали и подробности. Брат его теперь приезжал редко – все некогда...

Наконец вмешалась Дарья, которая до этого сидела почти молча:

– А знаешь, Коля, мы же столько всего в этом году собрали – и ягоды, и грибы, картошку вот почти выкопали. Такого урожая за всю жизнь не припомним.

– Да, мы тебе обязательно дадим всего с собой, – добавил Саша. – Одним со всем не управиться.

– Но...

– Не возражай только, – в один голос ответили супруги.

– Вот Стас приедет с женой, мы и им всего дадим. Мы с Дарьей вчера полдня всякие за-

катки собирали, пакеты. В морозилке поря-
дков навели. А мед-то, мед – тоже свой у нас,
мы с тестем занимаемся понемногу.

– Скучаешь, по брату-то?

– Скучаю... – протянул Саша. – Ну что тут уже, день всего остался. А теперь – пойдем спать. Завтра день большой будет.

Я разместился в небольшой уютной комнате, которая не менялась, вероятно, уже лет тридцать. Было в этом простом, незамысловатом интерьере то, что никогда не найдешь в городской квартире. Даже сам запах деревянного дома настраивал меня на другой лад. Я знал, что оно – настоящее – совсем рядом. За окном в высоких кронах берез шумел ветер. Я заснул крепким безмятежным сном, таким, какой, вероятно, не охватывал меня уже, по крайней мере, десяток-другой лет...

С самого утра следующего дня Саша и Дарья суетились, готовясь к приезду долгожданного гостя. Встали они гораздо раньше меня, еще до рассвета. Я проснулся в шесть и пошел на кухню. Там пахло свежей выпечкой. Дарья налила мне полный стакан парного молока и подала на крупном блюде несколько пирожков с яблочным повидлом:

– Подкрепись, пока я еще чего-нибудь приготовлю.

Я стоял и смотрел, как она суетится. Потом пришел Саша, и мы снова говорили о чем-то. Во всей обстановке чувствовалась приятная суета, напоминавшая подготовку к какому-то значительному семейному празднику. Супруги находились в приподнятом настроении и шутили со мной и друг с другом.

Часам к четырем перед домом остановился черный внедорожник, покрытый изрядным слоем пыли. Первым к калитке выбежал Ванька, за ним поспешили Саша и Дарья.

Я стоял у окна и наблюдал за тем, как братья пожали друг другу руки и обнялись. Говорили они негромко, так что слов было не разобрать. Александр и Станислав были похожи, почти одного роста, но при этом между ними существовала колоссальная разница – ее я заметил позже, когда мы сидели за столом.

Из машины вышла и жена Шашиного брата. Ее имени я не запомнил – то ли Таня, то

ли Полина. Она сухо улыbnулась, в ее позе, в том, как она держалась, чувствовалось какое-то нетерпение. Я увидел, как она, вытащив из сумочки салфетку, стала протирать правое крыло автомобиля от пыли. Потом позвала Стаса и стала на что-то указывать. Трое осматривали, видимо, какую-то царапину под разными углами в течение нескольких минут, прежде чем, наконец, прошли в дом. Я почему-то обратил внимание, как то ли Таня, то ли Полина открыла входную дверь: взявшись за ручку, она тут же украдкой протерла длинные тонкие пальцы той же самой влажной салфеткой. Но этого не заметил никто, кроме меня.

А в деревенских домах часто бывает так, что хозяева случайно хватаются руками за ручку входной двери, когда несут корм животным на дворе. Видимо, Дарья в спешке тоже оставила там какую-то крупцу, даже не заметив этого.

Я вышел навстречу гостям, нас представили друг другу. Стас зачем-то снова надел туфли и вышел на улицу.

– Сейчас придет, – сказала то ли Таня, то ли Полина.

Запыхавшийся Сашин брат вернулся с картонной коробкой:

– Это вам.

– Да ты что, зачем? А что это?

– Это... йогуртница, – ответила за Стаса его жена.

– Спасибо. А как ей пользоваться? – спросила Дарья.

– Вещь очень хорошая. А как пользоваться... – там все в инструкции написано. Да, Стас?

Он кивнул головой.

– А, кстати, помнишь, насос для лодки, что ты мне в прошлый раз привозил, до сих пор работает. Такой удачный оказался, – как-то не вовремя встал в разговор Саша.

– А-а... Хорошо, – пробормотал брат. – Да, насос, помню...

Разговор за столом начался с царапины на крыле:

– Представляете, ехали, и от встречной машины камень прямо здесь, в повороте по

краске чиркнул. Мы не сразу даже заметили, – сказал Станислав.

– И что теперь?

– Да это не страшно. Но, знаешь ли, к страховщикам надо будет идти по поводу ремонта. Там еще есть повреждения, но это все по страховке устраняется. Мы так всегда делаем. И в сервис надо бы съездить – «автомат» чего-то постукивать начал.

– А сколько пробег?

– Тридцать тысяч с небольшим. Так все дорого становится. Столько хлопот. А мы еще старую машину никак не продадим.

– Все-таки надумали продавать?

– Да, но два салона невыгодные условия предлагают. Вот в понедельник я еще поеду в один.

Он что-то еще рассказывал про автомобиль, но что именно, я уже не помню. Наверное, я просто не слушал. Теперь у меня была возможность посмотреть на лица двух братьев: они были удивительно разные, такими же, вероятно, были и их натуры с набором всех человеческих свойств и качеств. Саша старался оживить разговор, но у него это не получалось: он как будто бы перебирал по одному множество ключей из связки, но никак не мог найти подходящий, чтобы отпереть замок. А может, этого ключа и вовсе теперь не было?..

То ли Таня, то ли Полина сидела молча, вероятно, нервничая. Ела она совсем мало. Нервозность эта, как я догадывался, имела постоянное, а не периодическое свойство. Эта была ее черта. Из рук она не выпускала телефон:

– Ваня, а интернет у вас всегда так работает? – обратилась она к подростку.

– Не знаю... – замялся он. – У меня, вот... – он вытащил из кармана простенький кнопочный телефон с облезлыми клавишами.

– И ты без интернета обходишься?

– Ну да, а что?.. – мальчик искренне удивился. – У нас на компьютере есть. Но я редко, раз в неделю там копаюсь. Некогда, знаете...

Она едва заметно скривила губы и вновь ушла в киберпространство, изредка отрывая глаза.

Утром следующего дня Стас с женой уезжали раньше меня: им надо было торопиться. Их ждали салоны, кредиты, шопинг. Саша старался держаться весело и непринужденно. Вдоль стены дома, на полянке, залитой солнцем, стояли батареи банок, солений и варений, пакеты, заботливо завязанные и подписанные рукой Дарьи. В руках у нее самой был букет только что сорванных цветов.

Саша суетился, вспоминая, все ли они вынесли на двор, к машине. Стас неторопливо загружал багажник. То ли Таня, то ли Полина вновь рассматривала царапину на крыле.

– Ста-а-а-с. Смотри, и здесь еще! Как же мы вчера не заметили?! – тонким голосом протянула она.

– Подожди, приедем, разберемся.

Саша спохватился:

– Дарья, Даша! А картошку-то забыли! Сейчас принесу.

Он через минуту-другую возвратился с половиной мешка картофеля, завернутого еще

в тряпицу сверху, чтобы не запылить автомобиль брата.

– Вот и морковка еще, здесь, в пакете.

– Сколько? – грузно повернувшись, спросил Стас.

– Ну картошки килограммов пятнадцать, а морковки – не знаю, три, наверное. Она хорошая, сладкая такая...

– Не-е. Сколько я должен?

– В смысле?

– Ну это же работа ваша, сам понимаешь...

Саша на мгновение застыл, потом поднял глаза и посмотрел на брата. Взгляд этот был жалким, как у несправедливо побитой хозяином собаки...

– Мы люди не бедные. Ты что это надумал?..

По дороге домой мне стало ясно, что даже в своем возрасте я ничего еще не смыслю в этой жизни...

ПИАНИНО

Начало сентября. Вечереет. Мы стоим на горбатым мостике и смотрим на колеблющиеся отражения в воде. Верхушки деревьев гладит своими руками пока еще теплый ветер. Похоже, будет дождь. Поверхность водоёма гладкая, как лед зимой. Так и хочется бросить об неё какой-нибудь камушек, чтобы посмотреть, как крошечные волны начнут разбегаться по кругу от того места, где он упадет в воду.

В укромном уголке замечаем какой-то новый силуэт. В сумерках и не разглядишь сразу, что это такое.

– Пойдём, посмотрим?

– Пойдем, – соглашаюсь я.

Через несколько шагов становится ясно, что это пианино. В парке. Под мостом.

– Какое чудо! – восклицает та, что стоит со мной рядом.

– Чудо – это ты!

– Да нет же, посмотри – это настоящее пианино, – она бросается к нему, оставляя

мою руку. Кажется, будто всё её внимание и существо устремляются только к одному объекту. Не только здесь – в парке, в городе, стране, но и в целой Вселенной...

Я замечаю огонёк в её глазах.

«А может, и правда – чудо?... Но ведь... Ведь это же неправильно – бросать инструмент (конечно, если он рабочий и настоящий) прямо здесь, под мостом. Ведь скоро от сырости покоробится и расклеится древесина...»

Судя по внешнему виду, инструмент старый, сработанный на совесть, добротный и обстоятельно.

А чудо уже открывает крышку клавиатуры и начинает извлекать стройные, гармонические сочетания, которые для меня были, есть и останутся непостижимыми и недостижимыми. Я закрываю глаза. «Верно, что-то из Шопена...»

Она играет, а я слушаю и слеую за ней. Она идет по нотному стану, вдоль по линей-

кам, снимая с них сами ноты, и бросает их в этот инструмент, прямо на клавиатуру. А я иду следом и удивляюсь, как это она не проронит, не пропустит ни одной: все ложатся ровно на свои места.

– Расстроено, – с грустью произносит чудо.

– Продолжай. Пожалуйста.

И она продолжает, кажется, ещё лучше, ещё энергичнее, вкладывая себя в эту музыку. А старое пианино отвечает взаимностью, будто добрый знакомый.

Минут через пять где-то в его глубине замирает последняя нота и я, еще не открыв глаза, слышу, как опускается крышка – легко, почти без стука.

– Мы же будем приходить сюда?

– Обязательно.

«Не буду говорить ей...»

– Ты молодец!

Мы становимся поодаль, а к пианино подбегает мальчонка лет пяти и требует родителя приподнять его над землей, чтобы тоже сыграть. Под неловкие удары по клавишам все вокруг хохочут. Весело...

Проходит еще несколько минут, и на площадку к пианино спускаются молодые люди в косухах, богато убранных металлическими побрякушками. Один, высокий, с немтыми длинными волосами резким движением откидывает крышку так, что старое пианино издает недовольный треск. За этим следуют несколько грубых ударов по клавишам, которые молодчик совершает в попытке воспроизвести одну из незамысловатых мелодий, засевших в червоточинах его мозга.

Мы разворачиваемся и уходим. Но обязательно вернемся снова.

Похоже, что чудо всерьез подружилось с пианино, которое стареет на глазах – на нём появляются царапины, заботливо нанесённый кем-то лак слезает от капризов погоды, само дерево набухает от осенней влаги и коробится. Но тем не менее, голос этого удивительного инструмента всё ещё слышен. Пианино живёт...

Мы возвращаемся сюда вновь лишь спустя два месяца – ведь и в жизни случается

такое, что не находится времени на старых друзей. К сожалению.

Первые морозы начинают сковывать землю, покрывая её едва заметной стеклянной корочкой, ещё легко крошащейся под ногами. Пруд замерзает от краёв, оттуда, где мельче, а центр его всё ещё нетронут, и в нём по-прежнему можно любоваться причудливыми отражениями.

Мы подходим к горбатому мостику и замечаем женщину лет восьмидесяти, стоящую на противоположном берегу, как раз над ступеньками, ведущими к пианино.

Мы проходим дальше. «Мне кажется, или старушка смотрит на нас как-то по-особенному?» – думаю я. И действительно, поравнявшись с нею, мы слышим её голос:

– Ребята, а не можете мне спуститься по ступенькам? Больно уж они крутые.

– Конечно, поможем!

Мы берём её под руки, каждый со своей стороны. Старая женщина беспомощно водит в воздухе палкой с металлическим набалдашником, пытаясь куда-нибудь её пристроить, пока я, наконец, не забираю её.

Около пианино стоит окрашенная зеленая лавочка, на которую мы усаживаем старушку.

– Спасибо. Спасибо вам, что не постеснялись старого человека, подошли...

– Да что вы... – в унисон отвечаем мы.

Заметно, что голос чуда слегка дрогнул.

– Вы торопитесь? – спрашивает старушка.

– Нет, совсем нет, – опережает меня чудо.

– Да, то есть нет... – сбиваюсь я. – Не торопимся.

– Ведь через месяц с небольшим Рождество, верно? Я так жду и Нового Года, и Рождества, сколько себя помню. Вся жизнь. Есть в этих праздниках что-то доброе и светлое. И я помню почти всё, что происходило в эти дни. Сейчас в памяти всплывает один эпизод. Мы отмечали Новый Год. Мои ребята, ученики, подготовили прекрасный концерт. Было это лет двадцать с небольшим назад. Вот представьте: самый конец декабря, на улице уже совсем темно, а мы сидим в тёплом зале, посередине которого стоит расцвеченная огнями ель. В воздухе – аромат

свежей хвои. На сцене стоит пианино. Огни в зале приглушены, а над пюпитром прикреплена небольшая лампочка, освещающая ноты.

Одна из моих учениц, Маша, решила поставить на время исполнения произведения подсвечник прямо на пианино, зажгла свечи. И в самом конце, когда она закончила играть и прозвучала финальная нота, зал зааплодировал, она встала и каким-то образом задела канделябр. Одна свеча выскочила и упала на лакированную поверхность, оставив след, шрам на нашем любимом инструменте.

– Вы, должно быть, расстроились?

– Да я уж и не помню... Нет, это не повод расстраиваться. Как тебя зовут, деточка? – обращается она к чуду.

– Таня.

– Таня, подойди к этому пианино, посмотри на его поверхность там, справа, ближе к задней стенке.

Чудо подходит и смотрит на инструмент.

– Да, здесь что-то есть. Видно даже сейчас.

– Это то самое пианино? – в один голос спрашиваем мы.

– Оно... Оно самое. Такие шрамы не заживают.

– Так вы играли на нём?

– Да, целых сорок лет. Я выросла и старела вместе с ним. Сейчас уже всё меньше остаётся... Ну, вы понимаете... – приглушенно произнесла она и задумалась. Затем старушка засунула полупрозрачные кисти в рукава, чтобы согреть их. – Танечка, сыграй что-нибудь, – тихо просит она.

– А откуда Вы знаете, что я играю?

– По глазам видно. С моим-то опытом... Сыграй, прошу тебя.

Чудо открывает крышку клавиатуры и пробует пару клавиш. Звуча нет. Они опускаются почти бесшумно, не находя препятствия, с какой-то едва воспринимаемой сипотцой.

– Как же... – Таня опускает глаза, – как же теперь играть?

Она заглядывает внутрь, под крышку. Все молоточки выворочены, а механизм совершенно и окончательно испорчен.

Пожилая женщина встает.

– Возьмите палку, предлагаю я, помогая ей подняться на ноги.

– Нет, нет, не надо. Не беспокойтесь. Вот, теперь руки совсем отогрелись, теперь хорошо.

Она подходит к пианино с какой-то новой энергией, неизвестно откуда взявшейся в этом ветхом, слабом теле и опускает руки на клавиатуру. Заметно, как плохо разгибаются некоторые суставы. – Слушайте!

Пальцы её скользят по зебре клавиш. Мы стоим рядом, почти онемевшие, и не говорим ни слова.

Чудо поворачивается, обращая на меня удивлённый взгляд широко раскрытых глаз:

– Это вальс си-минор. Шопен, – шепчет она.

– Да, Танечка. Ты слышишь его! – старушка продолжает играть.

– Слышу! Определённо слышу...

И я слышу в тишине парка эту мелодию.

Старушка, закончив играть, поворачивается к нам:

– Пойдем?

Она закрывает клавиатуру и проводит ладонью по её холодной поверхности.

– Прощай, друг... – едва слышно произносит она.

Втроем мы поднимаемся по ступенькам. Вечереет.